РОССИЯ, ТЫ МОЯ!

Стихи разных лет

\* \* \*

Отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон. Жизнь замерла. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий.

Из последнего письма отца Павла Флоренского с Соловков (4.VI.1937)

Волны падают – стена за стеной

под полярной раскаленной луной.

За вскипающею зыбью вдали

близок край не ставшей отчей земли:

соловецкий островной карантин,

где Флоренский добывал желатин

в сальном ватнике на рыбьем меху

в продуваемом ветрами цеху.

Там на визг срываться чайкам легко,

ибо, каркая, берут высоко

из-за пайки по-над массой морской,

искушающие крестной тоской.

Все ничтожество усилий и дел

человеческих, включая расстрел

и отчаянные холод и мрак,

пронизавшие завод и барак,

хоть окрест, кажись, эон и иной,

остаются посегодня со мной.

Грех роптать, когда вдвойне повезло:

ни застенка, ни войны. Только зло,

причиненное в избытке отцу,

больно хлещет и теперь по лицу.

Преклонение, смятение, боль

продолжая перемалывать в соль,

в неуступчивой груди колотьба

гонит в рай на дармовые хлеба.

Распахну окно, за рамы держась,

крикну: «Отче!» – и замру, торопясь

сосчитать, как много минет в ответ

световых непродолжительных лет.

\* \* \*

Россия, ты моя!

И дождь сродни потопу,

и ветер, в октябре сжигающий листы...

В завшивленный барак, в распутную Европу

мы унесём мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими

в чреде глухих годин.

Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме

бурьяна и руин,

вот-вот погаснешь ты.

И кто тогда поверит

слезам твоих кликуш?

Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери

останки наших душ.

...Россия, это ты

на папертях кричала,

когда из алтарей сынов везли в Кресты.

В края, куда звезда лучом не доставала,

они ушли с мечтой о том, какая ты.

*1978*

\* \* \*

В пору богомерзкую, ближе к умиранию,

впрочем, с обретением отеческих пенат,

поминаю вешнюю, тёплую Британию,

всю в вишнёвой кипени много лет назад:

как чему-то встречные клерки веселились

в том раю потерянном делу вопреки

и галёрку в опере, куда не доносились

Командора гулкие, видимо, шаги.

Времена далёкие – аж до сотворения

космоса – открытого для души,

то бишь, самостийницы вплоть до отделения

и переселения в иные шалаши.

Говорят, «влияние английских метафизиков»,

«в духе их наследия» – не знаю, не читал;

но твоё присутствие той же ночью близкое

незаметно вынесло спящего в астрал.

С той минуты многое кануло и минуло.

Стал в своём отечестве я лохом и ловцом

человеков... Ты меня давно из сердца вынула,

сходного с подёрнутым рябью озерцом.

В целом, тишина окрест прямо погребальная,

в общем, идеальная пожива для молвы.

Только где-то слышится перестрелка дальняя

кем-то потревоженной солнцевской братвы.

*1997*

Пленник

За падавшим в реку мячиком,

а может, и не за ним,

я прыгнул с обрыва мальчиком

и выплыл совсем другим.

Да вот же он, неукраденный,

не шедший в распыл, в навар,

не ради забавы даденный,

уловленный цепко дар.

С тех пор из угла медвежьего

неведомого дотоль –

на карте отыщешь где ж его –

ко мне поступала боль.

Кончающиеся в бедности

намоленные края –

здесь тоже черта оседлости

невидимая своя...

Вскипали барашки снежные,

и мы, отощав с тоски,

как после войны – мятежные

садились за колоски

убогого слова вольного.

Потом, перебив хребет

души, из райка подпольного

нас вытянули на свет.

Ползите, пока ходячие,

в зазывный чужой капкан.

Глядите, покуда зрячие,

на лобную казнь Балкан.

Просторней весной сиреневой

заброшенные поля.

Но коже подстать шагреневой

сжимается мать-земля.

Догадки о русском Логосе

отходят к преданьям – в синь,

оставив звезду не в фокусе

и приторную полынь

во рту у стихослагателя,

глотающего слюну,

как будто у неприятеля,

прижившегося в плену.

*1999*

Под Вязьмой

Есть место им в полях России…

Пушкин

На весях Вязьмы минувшим летом

гостил, — где некогда в аккурат

под старой липой с подсохшим цветом

спал на походной кошме Мюрат.

Есть безответная, вероятно,

загадка, кто б ни давал приказ,

в немотивированных затратных

бросках в Россию армейских масс.

Живой, как пишется в сводках, силы

без счёту тут полегло, и вот

теперь поля её суть могилы

своей и многих чужих пехот.

И только певчие невидимки

их тут и чествуют в заревой

слоящейся по бурьянам дымке

ещё при звездах над головой.

*2014*

\* \* \*

Как работяг на полюсе,

где замерзает ртуть,

ветер сгибает в поясе

и не пускает в путь.

Всё интенсивней тёмное

светлого визави.

Много осталось тёплого

в старой моей крови,

тёплого и мятежного.

Но в гулевой груди

ласкового и нежного

зверя не разбуди.

Стать бы тобою чаемым,

вновь заплутав в пути,

малоимущим фраером

лет двадцати пяти

с траченным примой голосом.

Чтоб у замёрзших рек

сыпался нам на волосы

и парусинил снег.

Чтобы вдвоём с усильями

шли мы рука в руке,

шли...

И вожатых с крыльями

видели вдалеке.

*2012*

\* \* \*

Признаёшь ли, Отечество, сына

после всех годовщин?

Затянула лицо паутина,

задубев на морозе, морщин.

И Блаженный сквозь снежную осыпь

в персиянских тюрбанах своих

на откосе,

словно славное воинство, тих.

Человеки

те и те, и поди разреши:

где иовы-калеки,

где осклабленные алкаши,

вновь родных подворотен

отстоявшие каждую пядь.

Нам со дна преисподней

с четверенек неловко вставать.

…Расставаясь с Украйной,

пошатнулся рукастый репей,

сей дозорный безкрайних

отложившихся волн и степей.

Родовую землицу

у каких пепелищных огней,

аки хищную птицу,

нам отпаивать кровью своей?

*1992*

Сны

Зимою – впадиной каждой, полостью

пренебрегавшие до сих пор

льды заполняют едва ль не полностью

речные русла, объем озер.

Лишь луч, нащупавший прорубь черную

там, где излуки в снегах изгиб,

работу видит локомоторную

мускулатуры придонных рыб.

Россия! Прежде военнопленною

тебя считал я и, как умел,

всю убеленную, прикровенную

до горловых тебя спазм жалел.

И ныне тоже, как листья палые

иль щука снулая блеск блесны,

я вижу изредка запоздалые

неразличимые те же сны.

*2004*

Кишмиш

За соснами в алых лианах

осенняя волглая тишь.

Туда с пустотою в карманах

приедешь, верней, прилетишь.

В присутствии бунинской тени

его героине опять

начнешь, задыхаясь, колени

сквозь толстую ткань целовать.

И шепчешь, попреков не слыша,

одними губами: «Прости,

подвяленной кистью кишмиша

потом в темноте угости.

Пусть таинство нашего брака

с моей неизбывной виной

счастливцу поможет, однако,

в окопах войны мировой.

И в смуту, когда изменили

нам хляби родимой земли,

прости, что в поту отступили,

живыми за море ушли.

В сивашском предательском иле,

в степи под сожженной травой

и в сент-женевьевской могиле

я больше, чем кажется, – твой».

*1999*

\* \* \*

Осень выдалась тогда золотая –

ни дождей, ни хмури.

Под Изборском ясновидящая слепая,

как вошёл к ней в горницу, сразу признала:

– Юрий.

Вся светилась кротостью голубиной,

словно принимала меня за брата.

А в промытых окнах над котловиной

раскалялся меркнущий спектр заката.

Несравненна эта на койке узкой

красота молитвенной жизни русской.

С той поры слизнула судьба полвека.

Прогулял я жизнь, забывал поститься,

одичал в норе своего сусека,

походя всё меньше на человека,

думающего, что ему простится.

Сам теперь я часто лежу, болея.

По другую сторону листопада,

если повидаемся, Пелагея,

вновь меня признаешь ли там за брата?